

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ СТЕФАНА ЦВЕЙГА

Стефан Цвейг — один из самых популярных в мире австрийских писателей. Он захватывает читателя с первых строк любой своей книги, щедро одаривая радостью узнавания и сопереживания до самых последних страниц. Книги Цвейга из числа тех, о которых приятно говорить, что их «проглатывают».

Занимательность сюжета, легкость беглого, но аккуратного слога, щемящая душу чувствительность описаний, доступный психологизм диалогов — вот слагаемые такого успеха. Но это еще не все. Не названо, пожалуй, главное, что подкупает обычно простого человека в литературе и что так кратко и точно выразил еще А. С. Пушкин: «И чувства добрые я лирой пробуждал». О чем бы и в каком бы жанре ни писал Стефан Цвейг, он всегда стремился прежде всего к тому, чтобы пробудить в читателе-собеседнике добрые чувства. Он жил заветами и надеждами либерального гуманизма — может быть, слишком прекраснодушного в наш суровый век, но искреннего, возвышенного и пламенного, который разделял с ним и его большой друг Ромен Роллан.

Корни писательства Стефана Цвейга уходят в атмосферу литературно-театральной Вены конца позапрошлого века. О них он поведал во «Вчерашнем мире» — лучших, пожалуй, писательских мемуарах, увидевших свет на немецком языке в двадцатом веке.

Стефан Цвейг родился в 1881 году в семье богатого фабриканта. Обеспеченная, даже процветающая семья жила обычными для этой среды интересами: досуги заполняли оперетта, вечера с известными актерами, музыкантами, художниками, литераторами; художественные выставки и журналы, из которых наизусть заучивались не только новые стихи модного поэта, но и целые абзацы не менее модного театрального или художественного критика. Неудивительно, что такая атмосфера рано пробудила в гимназисте Стефане тягу к собственному сочинительству. С конца девятых годов Цвейг

стал печатать в газетах и журналах стихи и статьи о проблемах современной литературы и искусства. Двадцатилетний автор подвел предварительный итог своей поэтической деятельности в сборнике «Серебряные струны». Стихи были по моде того времени — томные, «упаднические», или, как их еще называли, «декадентские».

Усердные занятия литературой Цвейг продолжал и в венском университете, где учился на филологическом факультете. В водовороте экспериментальных течений, заполнивших литературную арену Европы начала века, он не сразу нашел свое место. Лишь постепенно Цвейг пришел к духовным ценностям, на которые он мог надежно опираться всю свою жизнь. Неугасимыми путеводными звездами стали для него Л. Толстой и Ф. Достоевский, а из современников — бельгийский поэт-демократ Эмиль Верхарн.

Цвейгу посчастливилось не только лично познакомиться с Верхарном, но и подружиться с ним. Эта дружба, ничем не омраченная, продолжалась до самой смерти бельгийского поэта. Верхарн был к тому времени признанным мэтром, одним из духовных вождей культурной Европы. Он-то и ввел юного Цвейга в литературные круги Парижа и Лондона, Амстердама и Брюсселя. С тех пор понятие «Европа», как признавался Цвейг в своих мемуарах, стало для него равнозначным понятию «родина», тем более что пестролокутная Австро-Венгрия, на территории которой он родился и рос, была, по словам известного австрийского писателя Музиля, «моделью многоязычной и многоликой в своем единстве Европы». А единство Европы зиждилось, по Верхарну и Цвейгу, прежде всего на гуманистических заветах ее многовековой культуры.

Цвейг был натурой впечатлительной, увлекающейся, импульсивной. Встретившись с интересным человеком или явлением, фактом или идеей в жизни ли, в книге ли — все равно, он сразу же загорался и немедленно принимался за сочинительство. Вряд ли в Европе двадцатого века найдется другой писатель, который столько сил и времени отдал биографическому жанру — от коротких миниатюр, запечатлевших «звездные часы» в истории человечества, до протяженных полотен с подробным описанием жизни и деятельности избранного исторического персонажа — Марии Стюарт или Эразма Роттердамского, Магеллана или Бальзака, Клейста или Роллана.

Увлеченность эта порой била через край, приводила к известной неразборчивости, не лишённой сенсационности. Так, трудно согласиться с той оценкой, которую Цвейг дает, например, Ницше или Фрейдю. Но и заблуждения Цвейга диктовались добрыми намере-

ниями — ему хотелось всех примирить, каждому воздать должное, выделить свой кусочек в возведении общей мозаики европейской культуры. Не борьба, а согласие были девизом Стефана Цвейга, и это сказалось в его самоустранении из жизни.

Жанровая палитра Цвейга чрезвычайно разнообразна. По сути дела, попросту нет жанра, в котором он не испытал бы свои силы: он писал стихотворения и драмы, очерки и эссе, рассказы и поэмы, исторические репортажи. И все-таки исторический жанр — наряду с психологической новеллой (однажды развитой до целого романа, как было с «Нетерпением сердца») — оказался наиболее плодотворным для писателя.

Интерес к нему пробудила в Стефане Цвейге Первая мировая война. В итоге ее вспыхнула Великая Октябрьская революция в России, обозначившая собой грандиозный по своим масштабам и последствиям исторический сдвиг. Цвейг приветствовал революцию, но увидел в ней «русский путь», не обязательный для «просвещенной» Европы с ее устоями буржуазного индивидуализма, казавшимися ему в основе своей незыблемыми. Исторический прогресс в Европе может быть достигнут, надеялся Цвейг, совместными усилиями деятелей культуры, направленными на проповедь гуманизма. Война поначалу сильно поколебала эти надежды, но не смогла их развеять. Вскоре после ее начала Цвейг присоединил свой голос к страстной проповеди мира, которую повел Ромен Роллан. Пацифистские призывы и увещания двух братьев по перу, к которым затем примкнули многие другие видные писатели Европы, звучали диссонансом на фоне шовинистической истерии, развернувшейся в воюющих странах и на первых порах затянувшей в свою пучину даже многих прогрессивных художников слова. Мощным антивоенным призывом стал роман Барбюса «Огонь» (1916), горячо поддержанный Цвейгом.

В послевоенные двадцатые годы пацифизм и либерально-индивидуалистический гуманизм Стефана Цвейга, казалось, обрели достаточно прочную почву под ногами. Будущее Европы вновь представлялось безоблачным, а очаги шовинистической истерии, которые давали о себе знать, например, в вылазках фашистов, Цвейг попросту проглядел. Мешали прежние либерально-индивидуалистические иллюзии, заслонявшие от писателя сущность массовых движений — как положительных, так и зловещих, вызванных к жизни ловкой демагогией национал-социалистов.

Эти розовые иллюзии либерала-идеалиста отразились, конечно, и в творчестве Стефана Цвейга двадцатых годов, хотя весь его па-

фос был, как и всегда, в страстном отстаивании жизнеутверждающих принципов гуманизма. В это время все большее место среди произведений писателя стали занимать различные разновидности исторического жанра — от коротких миниатюр до толстых книг. Свои миниатюры Цвейг объединял в серии, и тогда они тоже выходили отдельными книгами — как «Строители мира» или «Звездные часы человечества». Строителями мира в них выступают выдающиеся одиночки — полководцы, завоеватели, изобретатели, первооткрыватели, ученые, писатели, деятели культуры. Великие художники слова пользуются, естественно, особым почтением литератора Цвейга и выглядят в его изображении как участники некоей великой, длящейся много веков эстафеты огня, зажженного Прометеем. Но идеализированными оказываются под его пером зачастую авантюристы вроде Казановы или Месмера, далекие от святости монархии вроде Марии Стюарт или Марии-Антуанетты и еще более далекие от каких-либо высоких целей завоеватели мира вроде Александра Македонского или Наполеона. Их появление не объяснено исторически, не дано как результат и следствие неких действующих в истории закономерностей; нет, все они выступают на арену словно кометы, прихотливыми зигзагами прочерчивающие темный небосвод истории. И даже поражением своим Наполеон обязан, по Цвейгу, не исторической обреченности своего дела, а заурядной тупости одного бездарного генерала, на которого он вынужден был в последнюю минуту опереться («Невозвратимое мгновение»). И золотая лихорадка в Америке не порождение исторических обстоятельств, а цепная реакция, вызванная аферой одинокого авантюриста Аугуста Зутера («Открытие Эльдорадо»). И «революцией в скорости сообщения» — телеграфной связью между Европой и Америкой мир обязан энтузиазму упрямого одиночки — Сайруса Филда («Первое слово из-за океана»). А все великие географические открытия — плод героических усилий отважных одиночек («Борьба за Южный полюс»).

Пожалуй, вся тщета индивидуалистических упований открылась Цвейгу только в начале тридцатых годов — когда слишком очевидной стала назревшая угроза фашизма, когда коричневая чума, завладев Германией, стала распространяться по Европе. Черты кризиса прежней веры в двойственность проповеди гуманизма отчетливо проступают в таких художественно значительных книгах Стефана Цвейга этого времени, как «Триумф и трагедия Эразма Роттердам-

ского» (1933), «Мария Стюарт» (1934), «Кастеллио против Кальвина, или Совесть против насилия» (1936).

Глубокими раздумьями о судьбе великих человеческих открытий наполнена книга «Магеллан» (1938), прославляющая активную деятельность человека на пути познания природы и в то же время не закрывающая глаза на темные стороны действительности, на зловещую тень чистогана, омрачающую и самые славные открытия и деяния. В этой книге — одной из последних работ писателя — Стефан Цвейг решительно порывает с сугубой созерцательностью гуманизма, который привык исповедовать всю свою жизнь. Однако преодолеть депрессию, вызванную Второй мировой войной, тяготами эмиграции, утратой родины и друзей, Стефан Цвейг не сумел.

Не помогла даже обычная для писателя терапия — работа. А писал в последние годы своей жизни Стефан Цвейг страстно, истово, пытаясь забыться, работой заглушить боль и горечь. За «Магелланом» последовал роман «Нетерпение сердца» (1939), за романом — книга воспоминаний «Вчерашний мир», изданная уже после смерти писателя. А когда в феврале 1942 года, исчерпав остаток душевных сил, Цвейг покончил с собой, на его рабочем столе в одном из отелей далекой от Европы бразильской столицы лежала почти готовая рукопись капитальной книги о Бальзаке, над которой он трудился до самых последних дней.

Можно сказать, что смерть Стефана Цвейга так же на совести фашизма, как и миллионы других его жертв. Цвейг хоть и верил в окончательную победу над фашизмом и внимательно следил за известиями о первых успехах Красной армии, но, утратив веру в свои идеалы, был душевно сломлен. Его нетерпеливое сердце остановилось в самый разгар исторической битвы с фашизмом.

В единственном романе Стефана Цвейга «Нетерпение сердца» всего явственнее ощущается глубокая, основательная «вчитанность» Цвейга в русскую литературу. Сразу же припоминается Достоевский с его пристрастием к острым, парадоксальным психологическим ходам и самым тайным изломам сознания. Да и сама, как прежде говорили, «интрига» — чувство Гоффмиллера к хромоножке Эдит — воспринимается как своеобразная парафраза ставрогинской истории из романа «Бесы». И главную мысль романа (как ее формулирует в романе доктор) о сострадании истинном и ложном, о человеколюбии самопожертвованном и эгоистическом нетрудно возвести к соответствующим художественным построениям великого русского рома-

ниста. А тот же резонер-доктор, разве не напоминает он нам собеседника Печорина доктора Вернера из гениального романа юного Лермонтова?

И еще одна русская параллель, на которую в свое время указал известный советский литературовед Б. Сучков: жизнь офицерской среды в глухом гарнизоне у Куприна и Стефана Цвейга, поручик Ромашов и лейтенант Гофмиллер, «Поединок» и «Нетерпение сердца».

В самом деле, лейтенант Гофмиллер — это, конечно, австрийская ипостась Ромашова. Человек слабый, безвольный, нерешительный, он хоть и не лишен доброй искры в душе, но окружающие условия не дают ее реализовать, и он послушно следует принятому в захолустной офицерской среде времяпрепровождению: кутежам, картам, разврату, чтобы хоть как-то забыться, вырваться из плена постылой, казенной службы. То есть ведет существование достаточно тусклое и обыденное. Как вдруг лейтенант попадает в дом местного богача фон Кекешфальва, где знакомится с его дочерью Эдит. Цвейг умело показывает сложную гамму чувств, их нарастание и «диалектику»: поначалу Гофмиллеру просто льстит, что он принят в столь блестящем доме, он страстно желал бы в нем закрепиться, но досадная оплошность, кажется, рушит его надежды. Потом просыпается что-то вроде теплых дружеских чувств к физически ущербной бедняжке; сочувствие красавчика-лейтенанта к Эдит пробуждает в ней сильное ответное чувство, которое и притягивает и отпугивает Гофмиллера. Постепенно он настолько запутывается в своих переживаниях, что готов идти под венец, чтобы прекратить дрящую муку и сделать окончательный шаг, но в решительный момент бежит от невесты, чем обрекает ее на гибель.

«Мы в ответе за тех, кого приручаем» — так в «Маленьком принце» сформулировал кредо действенного гуманизма Антуан де Сент-Экзюпери. Именно чувства ответственности за свои действия и поступки, чувства долга перед собой, то есть совестью своей, и ближними — теми, кого он «приручает», и не хватает Гофмиллеру. Другой персонаж романа — доктор, противоположность Гофмиллеру, его антипод. Он «приручил» когда-то слепую женщину и теперь трогательно и неусыпно заботится о ней, стремясь в личных своих отношениях служить высокому, хоть и тернистому предназначению — врачеванию, исцелению людей, облегчению их страданий. За его словами — прожитая им самим и передуманная жизнь, это и придает им особую убедительность: «...Есть два рода сострадания, — отмечает Цвейг в эпиграфе. — Одно — малодушное и сентименталь-

ное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья... Но есть и другое сострадание — истинное, которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости...»

У Гофмиллера как раз такое «нетерпеливое» сердце, его хватает лишь на эгоистическое сострадание, простирающееся до определенных границ, на страже которых зорко стоят собственные интересы и удовольствия. В этом он — истинно сын австрийской литературной традиции, не раз дававшей портрет типичного «господина Карла» — слабодушного, безвольно-созерцательного человека, становящегося рано или поздно игрушкой обстоятельств. Стефан Цвейг внес в разработку этого национального характера свою лепту — и в многочисленных новеллах, и в единственном своем романе.

Сосредоточившись, казалось бы, на камерных переживаниях и оттенках чувств героя и героини, Цвейг тем не менее не оставляет без внимания и «большую», общую, социальную жизнь изображаемого им периода австрийской истории. Конечно, картина социальной жизни в романе лишена универсальности, многое в ней (например, положение народных масс) даже и не намечено, но по достаточно убедительным фрагментам нетрудно восстановить и общий объективный смысл этой картины, и тот приговор, который выносит ей писатель. С первых и до последних страниц книги читателя не покидает ощущение обреченности запечатленного в ней мира, в котором все фальшиво: и чувства, и мораль, и духовные, и даже материальные ценности. Тот же богач, аристократ и сноб фон Кекешфальва оказывается никакой не «фон», а обыкновенный ушлый прощелыга, начавший карьеру с мелкой лавочки, каких в ту пору были сотни в еврейских местечках по обе стороны Прикарпатья, и ловкими махинациями сколотивший себе солидный капитал, который, среди прочего, принес ему и фальшивый титул.

Осознав обреченность старого, вскормившего его мира, Стефан Цвейг поведал о нем со свойственной ему искренностью. Но готовности активно участвовать в переделке мира он в себе не обнаружил; тот новый мир, перспективы которого открывал перед ним, например, Максим Горький, казался ему утопией — заманчивой, но несбыточной. В этом, конечно, ограниченность Стефана Цвейга и как мыслителя, и как художника.

Для нас существеннее, однако, его достоинства — гуманизм, неиссякаемая вера в добрые начала человека, честное служение своему

призванию, которые обеспечили ему заметное место среди крупнейших прогрессивных писателей Запада двадцатого века от Роллана до Шоу, которые давно снискали ему уважение и симпатию миллионов читателей. Первым, кто заметил и оценил талант Стефана Цвейга, был Максим Горький. «Очень рекомендую Вам изданную „Временем“ книжку Стефана Цвейга, — писал он Федину, — „Смятение чувств“, — замечательная вещь! Прочитайте. Этот писатель растёт богатырски и способен дать великолепнейшие вещи»¹. В одной из своих статей Горький писал об «изумительном милосердии к человеку», которое отличает книги Стефана Цвейга.

¹ *Федин К.* Писатель, искусство, время. М., 1980. С. 280.

НЕТЕРПЕНИЕ СЕРДЦА

РОМАН



«...Есть два рода сострадания. Одно — малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья; это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание — истинное, которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострада, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их».

«Нетерпение сердца»

«Ибо кто имеет, тому дано будет» — каждый писатель может с легким сердцем признать справедливость этих слов из Книги Мудрости, применив их к себе: кто много рассказывал, тому многое расскажется. Ничто так не далеко от истины, как слишком укореившееся мнение, будто писатель только и делает, что сочиняет всевозможные истории и происшествия, снова и снова черпая их из неиссякаемого источника собственной фантазии. В действительности же, вместо того чтобы придумывать образы и события, ему достаточно лишь выйти им навстречу, и они, неустанно разыскивающие своего рассказчика, сами найдут его, если только он не утратил дара наблюдать и прислушиваться. Тому, кто не раз пытался толковать человеческие судьбы, многие готовы поведать о своей судьбе.

Эту историю мне тоже рассказали, причем совершенно неожиданно, и я передаю ее почти без изменений.

В мой последний приезд в Вену, как-то вечером, уставший от множества дел, я отыскал один пригородный ресторан, полагая, что он давно вышел из моды и вряд ли многолюден. Однако едва я вошел в зал, как мне пришлось раскаяться в своем заблуждении. Из-за первого же столика поднялся знакомый и, проявляя все признаки искренней радости, которой я отнюдь не разделял, предложил подсесть к нему. Было бы неверно утверждать, что этот суетливый господин сам по себе несносный или неприятный человек; он лишь принадлежал к тому сорту назойливых людей, что коллекционируют знакомства с таким же усердием, как дети — почтовые марки, чрезвычайно гордясь каждым экземпляром своей коллекции.

Для этого чудака — между прочим, дельного и знающего архивариуса — весь смысл жизни, казалось, заключался в чувстве скромного удовлетворения, которое он испытывал, если при упоминании какого-либо имени, время от времени мелькавшего в газетах, мог небрежно обронить: «Это мой близкий друг», или: «Да я его только

вчера видел», или: «Мой друг А. говорит, а мой приятель Б. полагает», — и так до конца алфавита. Знакомые актеры всегда могли рассчитывать на его аплодисменты, знакомым актрисам он звонил утром после премьеры, торопясь поздравить их; не бывало случая, чтобы он позабыл чей-нибудь день рождения; пристально следя за рецензиями, он оставлял без внимания малоприятные, хвалебные же вырезал из газет и от чистого сердца посылал друзьям. В общем, это был неплохой малый, ибо в своем усердии он руководствовался самыми добрыми намерениями и почитал за счастье, если кто-либо из его именитых друзей обращался к нему с пустячной просьбой или же пополнял его коллекцию новым экземпляром.

Нет нужды подробней описывать нашего друга «при ком-то» — как в насмешку окрестили венцы этих добродушных прилипал из многоликой породы снобов, — любой из нас встречал их и знает, что только грубостью можно отделаться от их безобидного, но назойливого внимания. Итак, покоровшись судьбе, я подсел к нему. Не поболтали мы и четверти часа, как в ресторан вошел рослый господин с молодежавым, румяным лицом и сединой на висках; по выправке в нем сразу угадывался бывший военный. Поспешно привстав с места, мой сосед с присущим ему усердием поклонился вошедшему, на что тот ответил скорее безразлично, нежели учтиво. Не успел новый посетитель сделать подбежавшему кельнеру заказ, как мой друг «при ком-то», подвинувшись ко мне поближе, тихо спросил:

— Знаете, кто это?

Помня его привычку хвастать любым, даже малоинтересным экземпляром своей коллекции и опасаясь слишком пространных объяснений, я холодно бросил «нет» и занялся тортом. Однако мое равнодушие только подзадорило этого собирателя имен; поднеся ладонь ко рту, он зашептал:

— Это же Гофмиллер из главного интендантства; ну, помните, тот, что в войну получил орден Марии-Терезии.

Поскольку этот факт вопреки ожиданию не произвел на меня ошеломляющего впечатления, господин «при ком-то» с патристическим пылом, достойным школьной хрестоматии, принялся выкладывать все подвиги, совершенные ротмистром Гофмиллером сначала в кавалерии, затем в воздушном бою над Пьяве, когда он один сбил три вражеских самолета, и, наконец, когда его пулеметная рота трое суток сдерживала натиск противника. Рассказ свой господин «при ком-то» сопровождал массой подробностей (я их здесь опускаю) и то и дело выражал безмерное изумление по поводу того, что

я никогда не слышал об этом выдающемся человеке, которому император Карл самолично вручил высшую австрийскую военную награду.

Невольно поддавшись искушению, я взглянул на соседний столик, чтобы с двухметровой дистанции увидеть героя, отмеченного печатью истории. Но я встретил твердый, недовольный взгляд, который словно говорил: «Этот тип уже что-то напел тебе? Нечего на меня глазеть». И, не скрывая своей неприязни, ротмистр резко передвинул стул и уселся к нам спиной. Несколько смущенный, я отвернулся и с этой минуты избегал даже краешком глаза смотреть в его сторону.

Вскоре я распрощался с моим усердным сплетником. При выходе я не преминул отметить про себя, что он уже успел перебраться к своему герою: видимо, не терпелось поскорее доложить ему обо мне, как он докладывал мне о нем.

Вот, собственно, и все. Я бы скоро позабыл эту мимолетную встречу взглядов, но случаю было угодно, чтобы на следующий день в небольшом обществе я оказался лицом к лицу с неприступным ротмистром. В смокинге он выглядел еще более эффектно и элегантно, нежели вчера в костюме спортивного покроя. Узнав друг друга, мы оба постарались скрыть невольную усмешку, словно два заговорщика, оберегающие от посторонних тайну, известную только им. Вероятно, воспоминание о вчерашнем незадачливом своднике в одинаковой мере раздражало и забавляло нас обоих. Сначала мы избегали говорить друг с другом, что, впрочем, все равно не удалось бы, поскольку вокруг разгорелся жаркий спор.

Предмет этого спора можно легко угадать, если я упомяну, что он имел место в 1938 году. Будущие летописцы установят, что в 1938 году почти в каждом разговоре — в какой бы из стран нашей испуганной Европы он ни происходил — преобладали догадки о том, быть или не быть новой войне. При каждой встрече люди, как одержимые, возвращались к этой теме, и порой даже казалось, будто не они, пытаясь избавиться от обуявшего их страха, делятся своими опасениями и надеждами, а сама атмосфера, взбудораженная, насыщенная скрытой тревогой, стремится разрядить в словах накопившееся напряжение.

Дискуссию открыл хозяин дома, адвокат по профессии и большой спорщик.

Общеизвестными аргументами он пытался доказать общеизвестную чушь, будто наше поколение, уже испытавшее одну войну, не

позволит так легко втянуть себя в новую: едва объявят мобилизацию, как штыки будут повернуты в обратную сторону — уж кто-кто, а старые фронтовики вроде него хорошо знают, что их ждет.

В тот самый час, когда сотни, тысячи фабрик занимались производством взрывчатых веществ и ядовитых газов, он сбрасывал со счетов возможность новой войны с той же небрежной легкостью, с какой стряхивал пепел своей сигареты.

Его апломб вывел меня из терпения. Не всегда следует принимать желаемое за действительное, весьма решительно возразил я ему. Ведомства и организации, управляющие военной машиной, тоже не дремали. И пока мы тешили себя иллюзиями, они сполна использовали мирное время, чтобы заранее привести массы, так сказать, в боевую готовность. Если уже сейчас, в мирные дни, всеобщее раболепство благодаря самоновейшим методам пропаганды достигло невероятных размеров, то в минуту, когда по радио прозвучит приказ о мобилизации — надо смотреть правде в глаза, — ни о каком сопротивлении и думать нечего. Человек всего лишь песчинка, и в наши дни его воля вообще не принимается в расчет.

Разумеется, все были против меня, ибо люди, как известно, склонны к самоуспокоению, они пытаются заглушить в себе сознание опасности, объявляя, что ее не существует вовсе. К тому же в соседней комнате нас ждал роскошно сервированный стол, и при подобных обстоятельствах мое возмущение неоправданным оптимизмом казалось особенно неуместным.

Неожиданно за меня вступился кавалер ордена Марии-Терезии, как раз тот, в ком я ошибочно предполагал противника.

— Это чистейший абсурд, — горячо заговорил он, — в наше время придавать значение желанию или нежеланию человеческого материала, ведь в грядущей войне, где в основном предстоит действовать машинам, человек станет не более как придатком к ним. Еще в прошлую войну на фронте мне редко встречались люди, которые безоговорочно принимали или безоговорочно отвергали войну. Большинство нас подхватило, как пыль ветром, и закружило в общем вихре. И пожалуй, тех, кто пошел на войну, убегая от жизни, было больше, чем тех, кто спасался от войны.

Я с изумлением слушал его, захваченный прежде всего страстью, с которой он говорил.

— Не будем обманывать себя. Начнись сейчас вербовка добровольцев на какую-нибудь экзотическую войну — скажем, в Полинезии или в любом уголке Африки, — и найдутся тысячи, десятки ты-

сяч, которые ринутся по первому зову, сами толком не зная почему — то ли из стремления убежать от самих себя, то ли в надежде избавиться от безрадостной жизни. Вероятность сопротивления войне я оцениваю немногим выше нуля. Чтобы в одиночку сопротивляться целой организации, требуется нечто большее, чем готовность плыть по течению, — для этого нужно личное мужество, а в наш век организации и механизации это качество отмирает. В войну я сталкивался почти исключительно с явлением массового мужества, мужества в строю; оказалось, что за ним скрываются — если разглядывать его в увеличительное стекло — самые неожиданные стимулы: много тщеславия, много легкомыслия и даже скуки, но прежде всего — страх. Да, да! Боязнь отстать, боязнь быть осмеянным, боязнь действовать самостоятельно и главным образом боязнь противостоять общему порыву; большинство из тех, кого считали на фронте храбрецами, были мне лично известны и тогда и потом, в гражданской жизни, как весьма сомнительные герои. Пожалуйста, не думайте, — добавил он, вежливо обращаясь к хозяину, соорившему кислую мину, — что я делаю исключение для себя.

Мне понравилось, как он говорил, и я уже собрался было подойти к нему, но тут хозяйка дома пригласила гостей к столу, и, так как нас усадили далеко друг от друга, нам не удалось побеседовать за ужином. Только когда все стали расходиться, мы столкнулись в прихожей.

— Мне кажется, — сказал он, улыбнувшись, — что наш общий покровитель уже заочно представил нас друг другу.

Я тоже улыбнулся:

— И весьма обстоятельно.

— Наверно, изображал меня таким Ахиллесом и хвастался моим орденом, как своим?

— Что-то в этом роде.

— Да. Им он чертовски гордится — так же, как и вашими книгами.

— Чудак! Но бывают и хуже. Может быть, пройдемся немного вместе, если вы ничего не имеете против?

Мы вышли. Сделав несколько шагов, он заговорил:

— Не подумайте, что я рисуюсь, но, действительно, ничто мне так не мешало все эти годы, как орден Марии-Терезии, — слишком уж он бросается в глаза. Конечно, по совести говоря, когда мне повесили его на грудь там, на фронте, у меня голова пошла кругом. Ведь, в конце концов, если тебя воспитали солдатом и ты еще в кадетском корпусе наслышался об этом легендарном ордено, который

в каждую войну достается, быть может, какому-нибудь десятку людей, то он и в самом деле кажется звездой, упавшей с неба. Да, для двадцативосьмилетнего парня это кое-что значит. Вы только представьте себе: стоишь перед строем, все смотрят, как у тебя на груди вдруг что-то засверкало, будто маленькое солнце, а его недостижимое величество, сам император, на глазах у всех поздравляет тебя, пожимая руку! Но, видите ли, эта награда имела смысл и значение только в нашем армейском мире. Когда же война кончилась, мне показалось смешным ходить весь остаток жизни с ярлыком героя только потому, что однажды, всего каких-нибудь двадцать минут, я был по-настоящему храбр, но, наверно, не храбрее, чем тысячи других; просто мне выпало счастье быть замеченным и — что самое удивительное — вернуться живым. Уже через год мне осточертело изображать ходячий монумент и смотреть, как люди из-за кусочка металла на груди взирают на меня с благоговением; меня раздражало постоянное внимание к моей персоне, это и послужило одной из причин того, что я очень скоро после окончания войны ушел из армии.

Он немного ускорил шаг.

— Я сказал: одной из причин, главная же была иного порядка, личного, она вам, пожалуй, будет еще понятнее. Главная причина заключалась в том, что я сам слишком сомневался в своем праве называться героем, — во всяком случае, в своем героизме. Я-то лучше всяких зевак знал, что этим орденом прикрывается человек, меньше всего похожий на героя, скорее наоборот — он один из тех, кто очертя голову ринулся в войну только потому, что попал в отчаянное положение; это были дезертиры, сбежавшие от личной ответственности, а не герои патриотического долга. Не знаю, как вы, писатели, смотрите на это, но лично мне ореол святости кажется противоестественным и невыносимым, и я испытываю огромное облегчение с тех пор, как избавился от необходимости ежедневно демонстрировать на мундире свою героическую биографию. Меня и по сей день злит, когда кто-нибудь занимается раскопками моей былой славы; признаться, вчера я чуть не подошел к вашему столику, чтобы отрубить этого болтуна, похвалявшегося мною. Почтительный взгляд, который вы бросили в мою сторону, весь вечер не давал мне покоя; больше всего мне хотелось тут же опровергнуть его болтовню и заставить вас выслушать, какой кривой дорожкой я, собственно, пришел к своему геройству. Это довольно странная история, во всяком случае, она показала бы вам, что иной раз мужество — это слабость

наоборот. Впрочем, я мог бы вполне откровенно рассказать вам ее. О том, каким ты был четверть века назад, можно говорить так, словно это касается кого-то другого. Располагаете ли вы временем, чтобы выслушать меня? И не покажется ли вам это скучным?

Разумеется, я располагал временем; в ту ночь мы еще долго бродили по опустевшим улицам. Встречались мы и в последующие дни.

Передавая его рассказ, я изменил лишь немного: гусаров назвал уланами, предусмотрительно изменил расположение гарнизонов и уж конечно не стал упоминать настоящие имена. Но нигде я не присочинил чего-либо существенного и вот теперь предоставляю слово самому рассказчику.

Все началось с досадной неловкости, с нечаянной оплошности, с *gaffe*¹, как говорят французы. Правда, я поспешил загладить свой промах, но когда слишком торопишься починить в часах какое-нибудь колесико, то обычно портишь весь механизм. Даже спустя много лет я так и не могу понять, где кончалась моя неловкость и началась вина. Вероятно, я этого никогда не узнаю.

Мне было тогда двадцать пять лет. Я служил в чине лейтенанта в Н-ском уланском полку. Не скажу, чтобы я испытывал особое влечение или чувствовал в себе призвание к военной службе. Но если в семье австрийского чиновника за скудным столом сидят две девочки и четверо вечно голодных мальчуганов, то их не очень спрашивают о наклонностях, а поскорее пристраивают к делу, чтобы они не слишком засиживались в родительском гнезде. Моего брата Ульриха, который еще в школе испортил себе глаза зубрежкой, отдали в семинарию; меня же, поскольку я отличался крепким сложением, послали в военное училище: там клубок жизни разматывается сам собой, его уже не надо тянуть за нитку. Все заботы берет на себя государство. За несколько лет оно бесплатно, по установленному казенному образцу, выкраивает из худощавого, бледного подростка безусого прапорщика и в годном к употреблению виде сдает его армии. Мне еще не исполнилось и восемнадцати, когда — по традиции в день рождения императора — состоялся наш выпуск, и на моем воротнике вскоре засверкала звездочка. Первый этап был пройден; отныне мне предстояло с надлежащими интервалами автоматически продвигаться вверх по служебной лестнице вплоть до пенсии и подагры. В кавалерию, где служба, увы, далеко не всякому

¹ Бестактного поступка (фр.). (Здесь и далее примеч. перев.)

по средствам, я попал не по собственному желанию, а по прихоти тетки Дэзи, второй жены старшего брата отца; она обручилась с моим дядей, когда тот перешел из министерства финансов на более выгодную должность председателя правления банка. Эта богачка с аристократическими замашками не допускала и мысли, что кто-либо из ее родственников способен «опозорить» фамилию Гофмиллеров службой в пехоте; а так как за свой каприз она ежемесячно выплачивала мне сотню крон, то при каждом удобном случае я еще должен был покорнейше благодарить ее. Нравилась ли мне служба в кавалерии и вообще в армии — над этим никто никогда не задумывался, и меньше всего я сам. Стоило мне вскочить в седло, как я забывал обо всем на свете и дальше ушей своего коня ничего не видел.

В ноябре 1913 года из одной канцелярии в другую, вероятно, спустили какой-то приказ, и наш эскадрон неожиданно-негаданно переехали из Ярославце в небольшой гарнизонный городок у венгерской границы. Как он назывался — не так уж важно, ибо все провинциальные гарнизонные городки в Австрии отличаются друг от друга не больше, чем пуговицы на мундире. Повсюду одна и та же казенная декорация: казарма, манеж, учебный плац, офицерское казино и как дополнение — три гостиницы, два кафе, кондитерская, винный погребок и паршивенькое варьете с потасканными певичками, которые между делом охотно удостоаивают своей благосклонности офицеров и вольноопределяющихся. Строевая служба повсюду одинаково пуста и однообразна, час за часом расписаны по неизбывному, веками установленному порядку; в свободное время тоже не происходит ничего интересного. В офицерском казино всё те же лица и те же разговоры, в кафе всё те же карты и тот же бильярд. Иной раз даже удивляешься, как это еще Господь Бог удосужился нарисовать разные пейзажи вокруг шестисот или восьмисот домов, насчитывающихся в таких городишках.

Правда, у нового гарнизона было одно преимущество перед прежним, галицийским: он находился близко от Вены и не очень далеко от Будапешта, и тут останавливались курьерские поезда. Те, у кого были деньги, — а в кавалерии, как правило, служили люди со средствами, не говоря уже о вольноопределяющихся из высшей знати и сынках крупных фабрикантов, — могли, отбарабанив положенное, уехать с пятичасовым в Вену и к половине третьего ночи вернуться назад. Так что вполне можно было сходить в театр, пошататься по Рингу и завести любовную интрижку; некоторые счаст-

ливчики даже снимали там постоянные или временные квартиры. К сожалению, подобные освежающие прогулки были мне при моем бюджете недоступны. Я довольствовался кафе и кондитерской, где играл в бильярд (карточные ставки выходили за пределы моих возможностей) или в шахматы, что уж совсем ничего не стоило.

Так вот однажды — это было, кажется, в середине мая 1914 года — я сидел после обеда в кондитерской за шахматами. Моим партнером и на сей раз оказался местный аптекарь, он же помощник бургомистра. Мы давно окончили наши обычные три партии и сидели просто так, от нечего делать болтая о том о сем, — куда еще денешься в этой дыре? Разговор уже гаснул, словно догорающая сигарета, как вдруг неожиданно распахнулась дверь и волна свежего воздуха внесла хорошенькую девушку в широкой развевающейся юбке; карие миндалевидные глаза, смуглое личико, превосходно одета, ничего провинциального и главное — совершенно новое лицо среди осточертевшего однообразия. Но — увы! — элегантная нимфа не обращает никакого внимания на наши почтительно-восторженные взгляды: гордо и стремительно, упругим спортивным шагом она проходит мимо девяти мраморных столиков прямо к стойке и заказывает en gros¹ торты, пирожные и напитки. Мне сразу же бросается в глаза, как devotissime² склоняется перед ней хозяин кондитерской, — я еще никогда не видел, чтобы у него на спине так туго натягивался шов фрака. Даже его жена, грубая, растолстевшая провинциальная Венера, которая обычно со снисходительной небрежностью принимает ухаживания нашего брата (у каждого бывают к концу месяца кое-какие должки), встает из-за кассы и рассыпается в любезностях. Пока господин Гроссмейер записывает заказ, прелестная клиентка беззаботно грызет миндаль в сахаре и переговаривается с фрау Гроссмейер; нас она не замечает, хотя мы до неприличия усердно вытягиваем шеи в ее сторону. Разумеется, юная госпожа не утруждает свои нежные ручки покупками: фрау Гроссмейер предупредительно заверяет ее, что все будет доставлено домой. Ей даже не приходит в голову расплатиться наличными, как это делаем мы, простые смертные. Сразу видно: благородная клиентура, экстра-класс!

Но вот, покончив с заказом, она направляется к выходу. Господин Гроссмейер кидается отворить дверь, мой аптекарь тоже вскакивает

¹ Оптом (*фр.*).

² Почтительнейше (*ит.*).

с места и почтительно кланяется. Она благодарит царственной улыбкой. Черт возьми, какие у нее глаза! Карие, бархатные, как у лани. Едва дождавшись, пока она, осыпанная, будто сахаром, любезностями, вышла на улицу, я набросился на моего партнера с расспросами. Откуда взялся в нашем курятнике этот лебедь?

«Как, разве вы ее никогда не видели? Это же племянница господина фон Кекешфальвы. — (В действительности его звали иначе.) — Ну, вы же их знаете».

Фон Кекешфальва! Он произносит это имя, будто швыряет асигнацию в тысячу крон, и смотрит на меня, словно ожидая, что я незамедлительно отзовусь почтительным эхом: «Кекешфальва? Ах да! Конечно!» Но я, свежее испеченный лейтенант, всего лишь несколько месяцев в новом гарнизоне, я, в простоте душевной, и понятия не имею об этом таинственном божестве, а потому вежливо прошу дать мне разъяснения, что господин аптекарь и делает со всей словоохотливостью и тщеславием провинциала, разумеется, более пространно, чем это передаю я.

Кекешфальва, сообщает он мне, самый богатый человек в округе. Здесь чуть ли не все принадлежит ему. Не только усадьба Кекешфальва — «Да вы знаете этот дом, его видно с учебного плаца, такое желтое здание с башней в большом старинном парке, ну, слева от шоссе», — но и сахарная фабрика, что по дороге в Р., лесопилка в Бруке и конный завод. Все это его собственность и, кроме того, шесть или семь домов в Будапеште и Вене. «Да, трудно поверить, что в нашем городке есть такие богачи. А как он умеет жить! Настоящий аристократ! Зиму проводит в венском особняке на Жакингассе, лето — на курортах; сюда наезжает только весной, на два-три месяца. Но, боже мой, как он живет! Квартеты из Вены, французские вина, шампанское, все наипервейших сортов, лучшее из лучшего». Если угодно, продолжает аптекарь, он с удовольствием представит меня господину фон Кекешфальве, ведь они — самодовольный жест — в приятельских отношениях; в прошлом он часто бывал в усадьбе по делам и знает, что хозяин всегда рад видеть у себя в доме офицеров. Одно его слово — и я приглашен.

А почему бы и не пойти? Гарнизонная жизнь, как трясина, засасывает человека. На Корсо уже знаешь в лицо всех женщин, знаешь, какая у каждой из них зимняя и летняя шляпка и какое воскресное и будничное платье, — они всегда одни и те же; знаешь их собачек, и служанок, и детей. Уже по горло сыт кулинарными чудесами, которыми потчует нас в казино толстая повариха-чешка, а в ресторане

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ю. Архипов. Триумф и трагедия Стефана Цвейга</i>	5
НЕТЕРПЕНИЕ СЕРДЦА. Роман. <i>Перевод Н. Бунина</i>	13
НОВЕЛЛЫ	
<i>Амок. Перевод А. Баренковой</i>	317
<i>Письмо незнакомки. Перевод А. Баренковой</i>	363
<i>Невидимая коллекция. Случай из времен инфляции в Германии</i> <i>Перевод О. Боченковой</i>	397
<i>Смятение чувств. Из записок тайного советника Р. ф. Д.</i> <i>Перевод О. Боченковой</i>	408
<i>Двадцать четыре часа из жизни женщины</i> <i>Перевод О. Боченковой</i>	470
<i>Шахматная новелла. Перевод В. Ефановой</i>	515
<i>Жгучая тайна. Перевод О. Боченковой</i>	561
<i>В сумерках. Перевод С. Фридлянд</i>	613
<i>Закат одного сердца. Перевод О. Боченковой</i>	637
<i>Фантастическая ночь. Перевод О. Боченковой</i>	660
<i>Переулочек в лунном свете. Перевод О. Боченковой</i>	701
<i>Летняя новелла. Перевод С. Фридлянд</i>	715
<i>Лепорелла. Перевод В. Топер</i>	724
<i>Гувернантка. Перевод О. Боченковой</i>	744
<i>Случай на Женевском озере. Перевод О. Боченковой</i>	757
ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. <i>Перевод А. Баренковой</i>	
<i>Предисловие</i>	765
<i>Бегство в бессмертие</i>	767
<i>Завоевание Византии</i>	788

СОДЕРЖАНИЕ

Воскресение Георга Фридриха Генделя	811
Гений одной ночи	830
Историческое мгновение под Ватерлоо	844
Мариенбадская элегия	858
Открытие Эльдорадо	866
Героический миг	874
Первое слово из-за океана	880
Бегство к Богу	898
Борьба за Южный полюс	925
Пломбированный вагон	941
Цицерон	951
Вильсон терпит фиаско	971